

Анна Снегина. Сергей Александрович Есенин

А. Воронскому

“Село, значит, наше — Радово,
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места.
Богаты мы лесом и водью,
Есть пастбища, есть поля.
И по всему угодию
Рассажены тополя.
Мы в важные очень не лезем,
Но все же нам счастье дано.
Дворы у нас крыты железом,
У каждого сад и гумно.
У каждого крашены ставни,
По праздникам мясо и квас.
Недаром когда-то исправник
Любил погостить у нас.
Оброки платили мы к сроку,
Но — грозный судья — старшина
Всегда прибавлял к оброку
По мере муки и пшена.
И чтоб избежать напасти,
Излишек нам был без тягот.
Раз — власти, на то они власти,
А мы лишь простой народ.
Но люди — все грешные души.
У многих глаза — что клыки.
С соседней деревни Криуши
Косились на нас мужики.
Житье у них было плохое —
Почти вся деревня вскачь
Пахала одной сохою
На паре заезженных кляч.
Каких уж тут ждать обилий, —
Была бы душа жива.
Украдкой они рубили
Из нашего леса дрова.

Однажды мы их застали...
Они в топоры, мы тож.
От звона и скрежета стали
По телу катилась дрожь.
В скандале убийством пахнет.
И в нашу и в их вину
Вдруг кто-то из них как ахнет! —
И сразу убил старшину.
На нашей быдластой сходке
Мы делу условили ширь.
Судили. Забили в колодки
И десять услали в Сибирь.
С тех пор и у нас неуряды.
Скатилась со счастья вожжа.
Почти что три года кряду
У нас то падеж, то пожар”.
Такие печальные вести
Возница мне пел весь путь.
Я в радовские предместья
Ехал тогда отдохнуть.
Война мне всю душу изъела.
За чей-то чужой интерес
Стрелял я в мне близкое тело
И грудью на брата лез.
Я понял, что я — игрушка,
В тылу же купцы да знать,
И, твердо простившись с пушками,
Решил лишь в стихах воевать.
Я бросил мою винтовку,
Купил себе «липу»[1], и вот
С такою-то подготовкой
Я встретил 17-ый год.
Свобода взметнулась неистово.
И в розово-смордном огне
Тогда над страную калифствовал
Керенский на белом коне.
Война «до конца», «до победы».
И ту же сермяжную рать

Прохвосты и дармоеды

Сгоняли на фронт умирать.

Но все же не взял я шпагу...

Под грохот и рев мортир

Другую явил я отвагу —

Был первый в стране дезертир.

Дорога довольно хорошая,

Приятная хладная звень.

Луна золотою порошею

Осыпала даль деревень.

“Ну, вот оно, наше Радово, —

Промолвил возница, —

Здесь!

Недаром я лошади вкладывал

За норов ее и спесь.

Позволь, гражданин, на чайшко.

Вам к мельнику надо?

Так вон!..

Я требую с вас без излишка

За дальний такой прогон”.

... ..

Даю сороковку.

«Мало!»

Даю еще двадцать.

«Нет!»

Такой отвратительный малый.

А малому тридцать лет.

“Да что ж ты?

Имеешь ли душу?

За что ты с меня гребешь?”

И мне отвечает туша:

“Сегодня плохая рожь.

Давайте еще незвонких

Десяток иль штучек шесть —

Я выпью в шинке самогонки

За ваше здоровье и честь...”

И вот я на мельнице...

Ельник

Осыпан свечью светляков.

От радости старый мельник

Не может сказать двух слов:

“Голубчик! Да ты ли?

Сергуха!

Озяб, чай? Поди продрог?

Да ставь ты скорее, старуха,

На стол самовар и пирог!”

В апреле прозябнуть трудно,

Особенно так в конце.

Был вечер задумчиво чудный,

Как дружья улыбка в лице.

Объятыя мельника круты,

От них заревет и медведь,

Но все же в плохие минуты

Приятно друзей иметь.

«Откуда? Надолго ли?»

«На год».

“Ну, значит, дружище, гуляй!

Сим летом грибов и ягод

У нас хоть в Москву отбавляй.

И дичи здесь, братец, до черта,

Сама так под порох и прет.

Подумай ведь только...

Четвертый

Тебя не видали мы год...”

.....

.....

Беседа окончена...

Чинно

Мы выпили весь самовар.

По-старому с шубой овчинной

Иду я на свой сеновал.

Иду я разросшимся садом,

Лицо задевает сирень.

Так мил моим вспыхнувшим взглядам

Состарившийся плетень.

Когда-то у той вон калитки

Мне было шестнадцать лет,

И девушка в белой накидке

Сказала мне ласково: «Нет!»

Далекие, милые были.

Тот образ во мне не угас...

Мы все в эти годы любили,

Но мало любили нас.

“Ну что же! Вставай, Сергуша!

Еще и заря не текла,

Старуха за милую душу

Оладьев тебе напекла.

Я сам-то сейчас уеду

К помещице Снегиной...

Ей

Вчера настрелял я к обеду

Прекраснейших дупелей”.

Привет тебе, жизни денница!

Встаю, одеваюсь, иду.

Дымком отдает росяница

На яблонях белых в саду.

Я думаю:

Как прекрасна

Земля

И на ней человек.

И сколько с войной несчастных

Уродов теперь и калек!

И сколько зарыто в ямах!

И сколько зароят еще!

И чувствую в скулах упрямых

Жестокую судоргу щек.

Нет, нет!

Не пойду навеки!

За то, что какая-то мразь

Бросает солдату-калеке

Пятак или гривенник в грязь.

“Ну, доброе утро, старуха!

Ты что-то немного сдала...”

И слышу сквозь кашель глухо:

“Дела одолели, дела.

У нас здесь теперь неспокойно.

Испариной все зацвело.

Сплошные мужицкие войны —

Дерутся селом на село.

Сама я своими ушами

Слыхала от прихожан:

То радовцев бьют криушане,

То радовцы бьют криушан.

А все это, значит, безвластье.

Прогнали царя...

Так вот...

Посыпались все напасти

На наш неразумный народ.

Открыли зачем-то остроги,

Злодеев пустили лихих.

Теперь на большой дороге

Покою не знай от них.

Вот тоже, допустим... С Криуши...

Их нужно б в тюрьму за тюрьмой,

Они ж, воровские души,

Вернулись опять домой.

У них там есть Прон Оглоблин,

Булдыжник, драчун, грубиян.

Он вечно на всех озлоблен,

С утра по неделям пьян.

И нагло в третьевом годе,

Когда объявили войну,

При всем честном народе

Убил топором старшину.

Таких теперь тысячи стало

Творить на свободе гнусь.

Пропала Расея, пропала...

Погибла кормилица Русь..."

Я вспомнил рассказ возницы

И, взяв свою шляпу и трость,

Пошел мужикам поклониться,

Как старый знакомый и гость.

Иду голубою дорожкой

И вижу — навстречу мне

Несется мой мельник на дрожках

По рыхлой еще целине.

"Сергуха! За милую душу!

Постой, я тебе расскажу!

Сейчас! Дай поправить вожжу,

Потом и тебя оглошу.

Чего ж ты мне утром ни слова?

Я Снегиным так и бряк:

Приехал ко мне, мол, веселый

Один молодой чудака.

(Они ко мне очень желанны,

Я знаю их десять лет.)

А дочь их замужняя Анна

Спросила:

— Не тот ли, поэт?

— Ну, да, — говорю, — он самый.

— Блондин?

— Ну, конечно, блондин!

— С кудрявыми волосами?

— Забавный такой господин!

— Когда он приехал?

— Недавно.

— Ах, мамочка, это он!

Ты знаешь,

Он был забавно

Когда-то в меня влюблен.

Был скромный такой мальчишка,

А нынче...

Поди ж ты...

Вот...

Писатель...

Известная шишка...

Без просьбы уж к нам не придет".

И мельник, как будто с победы,

Лукаво прищурил глаз:

“Ну, ладно! Прощай до обеда!

Другое сдержу про запас”.

Я шел по дороге в Криушу

И тростью сшибал зелена.

Ничто не пробилось мне в душу,

Ничто не смутило меня.
Струилися запахи сладко,
И в мыслях был пьяный туман...
Теперь бы с красивой солдаткой
Завесть хорошо роман.
Но вот и Криуша...
Три года
Не зрел я знакомых крыш.
Сиреневая погода
Сиренью обрызгала тишь.
Не слышно собачьего лая,
Здесь нечего, видно, стеречь —
У каждого хата гнилая,
А в хате ухваты да печь.
Гляжу, на крыльце у Прона
Горластый мужицкий галдеж.
Толкуют о новых законах,
О ценах на скот и рожь.
«Здорово, друзья!»
“Э, охотник!
Здорово, здорово!
Садись!
Послушай-ка ты, беззаботник,
Про нашу крестьянскую жисть.
Что нового в Питере слышно?
С министрами, чай, ведь знаком?
Недаром, едрит твою в дышло,
Воспитан ты был кулаком.
Но все ж мы тебя не порочим.
Ты — свойский, мужицкий, наш,
Бахвалишься славой не очень
И сердце свое не продашь.
Бывал ты к нам зорким и рьяным,
Себя вынимал на испод...
Скажи:
Отойдут ли крестьянам
Без выкупа пашни господ?
Кричат нам,

Что землю не троньте,

Еще не настал, мол, миг.

За что же тогда на фронте

Мы губим себя и других?”

И каждый с улыбкой угрюмой

Смотрел мне в лицо и в глаза,

А я, отягченный думой,

Не мог ничего сказать.

Дрожали, качались ступени,

Но помню

Под звон головы:

“Скажи,

Кто такое Ленин?”

Я тихо ответил:

«Он — вы».

На корточках ползали слухи,
Судили, решали, шепча.
И я от моей старухи
Достаточно их получал.
Однажды, вернувшись с тяги,
Я лег подремать на диван.
Разносчик болотной влаги,
Меня прознобил туман.
Трясло меня, как в лихорадке,
Бросало то в холод, то в жар
И в этом проклятом припадке
Четыре я дня пролежал.
Мой мельник с ума, знать, спятил.
Поехал,
Кого-то привез...
Я видел лишь белое платье
Да чей-то привздернутый нос.
Потом, когда стало легче,
Когда прекратилась трясь,
На пятые сутки под вечер
Простуда моя улеглась.
Я встал.
И лишь только пола
Коснулся дрожащей ногой,
Услышал я голос веселый:
“А!
Здравствуйте, мой дорогой!
Давненько я вас не видала.
Теперь из ребяческих лет
Я важная дама стала,
А вы — знаменитый поэт.
... ..
Ну, сядем.
Прошла лихорадка?
Какой вы теперь не такой!
Я даже вздохнула украдкой,

Коснувшись до вас рукой.

Да...

Не вернуть, что было.

Все годы бегут в водоем.

Когда-то я очень любила

Сидеть у калитки вдвоем.

Мы вместе мечтали о славе...

И вы угодили в прицел,

Меня же про это заставил

Забывать молодой офицер..."

Я слушал ее и невольно

Оглядывал стройный лик.

Хотелось сказать:

"Довольно!

Найдемте другой язык!"

Но почему-то, не знаю,

Смущенно сказал невпопад:

"Да... Да..."

Я сейчас вспоминаю...

Садитесь.

Я очень рад.

Я вам прочитаю немного

Стихи

Про кабацкую Русь...

Отделано четко и строго.

По чувству — цыганская грусть".

"Сергей!

Вы такой нехороший.

Мне жалко,

Обидно мне,

Что пьяные ваши дебоши

Известны по всей стране.

Скажите:

Что с вами случилось?"

«Не знаю».

«Кому же знать?»

"Наверно, в осеннюю сырость

Меня родила моя мать".

«Шутник вы...»

«Вы тоже, Анна».

«Кого-нибудь любите?»

«Нет».

“Тогда еще более странно

Губить себя с этих лет:

Пред вами такая дорога...”

Сгущалась, туманилась даль...

Не знаю, зачем я трогал

Перчатки ее и шаль.

... ..

Луна хохотала, как клоун.

И в сердце хоть прежнего нет,

По-странному был я полон

Наплывом шестнадцати лет.

Расстались мы с ней на рассвете

С загадкой движений и глаз...

Есть что-то прекрасное в лете,

А с летом прекрасное в нас.

Мой мельник...

Ох, этот мельник!

С ума меня сводит он.

Устроил волюнку, бездельник,

И бегаёт как почтальон.

Сегодня опять с запиской,

Как будто бы кто-то влюблен:

“Придите.

Вы самый близкий.

С любовью

О г л о б л и н П р о н”.

Иду.

Прихожу в Криушу.

Оглоблин стоит у ворот

И спьяну в печенки и в душу

Костит обнищальный народ.

“Эй, вы!

Тараканье отродье!

Все к Снегиной!..

Р-раз и квас!

Даешь, мол, твои угожья

Без всякого выкупа с нас!”

И тут же, меня завидя,

Снижая сварливую прыть,

Сказал в неподдельной обиде:

«Крестьян еще нужно варить».

«Зачем ты позвал меня, Проша?»

“Конечно, ни жать, ни косить.

Сейчас я достану лошадь

И к Снегиной... вместе...

Просить...”

И вот запрягли нам клячу.

В оглоблях мосластая шкетъ —

Таких отдают с придачей,

Чтоб только самим не иметь.

Мы ехали мелким шагом,

И путь нас смешил и злил:

В подъемах по всем оврагам

Телегу мы сами везли.

Приехали.

Дом с мезонином

Немного присел на фасад.

Волнующе пахнет жасмином

Плетневый его палисад.

Слезаем.

Подходим к террасе

И, пыль отряхая с плеч,

О чьем-то последнем часе

Из горницы слышим речь:

“Рыдай — не рыдай, — не помога...

Теперь он холодный труп...

Там кто-то стучит у порога.

Припудрись...

Пойду отопру...”

Дебелая грустная дама

Откинула добрый засов.

И Прон мой ей брякнул прямо

Про землю,

Без всяких слов.

“Отдай!.. —

Повторял он глухо. —

Не ноги ж тебе целовать!”

Как будто без мысли и слуха

Она принимала слова.

Потом в разговорную очередь

Спросила меня

Сквозь жуть:

“А вы, вероятно, к дочери?

Присядьте...

Сейчас доложу...”

Теперь я отчетливо помню

Тех дней роковое кольцо.

Но было совсем не легко мне

Увидеть ее лицо.

Я понял —

Случилось горе,

И молча хотел помочь.

“Убили... Убили Борю...

Оставьте!

Уйдите прочь!

Вы — жалкий и низкий трусишка.

Он умер...

А вы вот здесь...”

Нет, это уж было слишком.

Не всякий рожден перенести.

Как язвы, стыдясь оплеухи,

Я Прону ответил так:

“Сегодня они не в духе...

Поедем-ка, Прон, в кабак...”

Все лето провел я в охоте.
Забыл ее имя и лик.
Обиду мою
На болоте
Оплакал рыдальщик-кулик.
Бедна наша родина кроткая
В древесную цветень и сочь,
И лето такое короткое,
Как майская теплая ночь.
Заря холодней и багровой.
Туман припадает ниц.
Уже в облетевшей дуброве
Разносится звон синиц.
Мой мельник всю улыбаётся,
Какая-то веселость в нем.
“Теперь мы, Сергуха, по зайцам
За милую душу пальнем!”
Я рад и охоте...
Коль нечем
Развеять тоску и сон.
Сегодня ко мне под вечер,
Как месяц, вкатился Прон.
“Дружище!
С великим счастьем!
Настал ожидаемый час!
Приветствую с новой властью!
Теперь мы всех р-раз — и квас!
Мы пашни берем и леса.
В России теперь Советы
И Ленин — старшой комиссар.
Дружище!
Вот это номер!
Вот это почин так почин.
Я с радости чуть не помер,
А брат мой в штаны намочил.
Едри ж твою в бабушку плюнуть!

Гляди, голубарь, веселей!
Я первый сейчас же коммуны
Устрою в своем селе”.
У Прона был брат Лабутя,
Мужик — что твой пятый туз:
При всякой опасной минуте
Хвальбишка и дьявольский трус.
Таких вы, конечно, видали.
Их рок болтовней наградил.
Носил он две белых медали
С японской войны на груди.
И голосом хриплым и пьяным
Тянул, заходя в кабак:
“Прославленному под Ляояном
Ссудите на четвертак...”
Потом, насосавшись до дури,
Взволнованно и горячо
О сдавшемся Порт-Артуре
Соседу слезил на плечо.
“Голубчик! —
Кричал он. —
Петя!
Мне больно... Не думай, что пьян.
Отвагу мою на свете
Лишь знает один Ляоян”.
Такие всегда на примете.
Живут, не мозоля рук.
И вот он, конечно, в Совете,
Медали запрятал в сундук.
Но со тою же важной осанкой,
Как некий седой ветеран,
Хрипел под сивушной банкой
Про Нерчинск и Турухан:
“Да, братец!
Мы горе видали,
Но нас не запугивал страх...”
... ..
Медали, медали, медали

Звенели в его словах.

Он Прону вытягивал нервы,

И Прон материл не судом.

Но все ж тот поехал первый

Описывать снегинский дом.

В захвате всегда есть скорость:

— Даешь! Разберем потом!

Весь хутор забрали в волость

С хозяйками и со скотом.

А мельник...

... ..

Мой старый мельник

Хозяек привез к себе,

Заставил меня, бездельник,

В чужой ковыряться судьбе.

И снова нахлынуло что-то...

Тогда я вся ночь напролет

Смотрел на скривленный заботой

Красивый и чувственный рот.

Я помню —

Она говорила:

“Простите... Была не права...

Я мужа безумно любила.

Как вспомню... болит голова...

Но вас

Оскорбила случайно...

Жестокость была мой суд...

Была в том печальная тайна,

Что страстью преступной зовут.

Конечно,

До этой осени

Я знала б счастливую быль...

Потом бы меня вы бросили,

Как выпитую бутылъ...

Поэтому было не надо...

Ни встреч... ни вообще продолжать...

Тем более с старыми взглядами

Могла я обидеть мать”.

Но я перевел на другое,

Уставясь в ее глаза,

И тело ее тугое

Немного качнулось назад.

“Скажите,

Вам больно, Анна,

За ваш хуторской разор?”

Но как-то печально и странно

Она опустила свой взор.

... ..

“Смотрите...

Уже светает.

Заря как пожар на снегу...

Мне что-то напоминает...

Но что?..

Я понять не могу...

Ах!.. Да...

Это было в детстве...

Другой... Не осенний рассвет...

Мы с вами сидели вместе...

Нам по шестнадцать лет...”

Потом, оглядев меня нежно

И лебедя выгнув рукой,

Сказала как будто небрежно:

“Ну, ладно...

Пора на покой...”

... ..

Под вечер они уехали.

Куда?

Я не знаю куда.

В равнине, проложенной вехами,

Дорогу найдешь без труда.

Не помню тогдашних событий,

Не знаю, что сделал Прон.

Я быстро умчался в Питер

Развеять тоску и сон.

Суровые, грозные годы!
Но разве всего описать?
Слыхали дворцовые своды
Солдатскую крепкую «мать».
Эх, удаль!
Цветение в далях!
Недаром чумазый сброд
Играл по дворам на роялях
Коровам тамбовский фокстрот.
За хлеб, за овес, за картошку
Мужик залучил граммофон, —
Слюнявя козлиную ножку,
Танго себе слушает он.
Сжимая от прибыли руки,
Ругаясь на всякий налог,
Он мыслит до дури о штуке,
Катающейся между ног.
Шли годы
Размашисто, пылко...
Удел хлебороба гас.
Немало попрело в бутылках
«Керенок» и «ходей» у нас.
Фефела! Кормилец! Касатик!
Владелец земель и скотом,
За пару измызганных «катек»
Он даст себя выдрать кнутом.
Ну, ладно.
Довольно стонов!
Не нужно насмешек и слов!
Сегодня про участь Прона
Мне мельник прислал письмо:
“Сергуха! За милую душу!
Привет тебе, братец! Привет!
Ты что-то опять в Криуцу
Не кажешься целых шесть лет!
Утешь!

Соберись, на милость!

Прижваривай по весне!

У нас здесь такое случилось,

Чего не расскажешь в письме.

Теперь стал спокой в народе,

И буря пришла в угомон.

Узнай, что в двадцатом годе

Расстрелян Оглоблин Прон.

Расея...

Дуровая зыкъ она.

Хошь верь, хошь не верь ушам —

Однажды отряд Деникина

Нагрянул на криушан.

Вот тут и пошла потеха...

С потехи такой — околеть.

Со скрежетом и со смехом

Гульнула казацкая плеть.

Тогда вот и чикнули Проню,

Лабутя ж в солому залез

И вылез,

Лишь только кони

Казацкие скрылись в лес.

Теперь он по пьяной морде

Еще не устал голосить:

“Мне нужно бы красный орден

За храбрость мою носить”.

Совсем прокатились тучи...

И хоть мы живем не в раю,

Ты все ж приезжай, голубчик,

Утешить судьбину мою...”

И вот я опять в дороге.

Ночная июньская хмарь.

Бегут говорливые дроги

Ни шатко ни валко, как встарь.

Дорога довольно хорошая,

Равнинная тихая звень.

Луна золотою порошею

Осыпала даль деревень.

Мелькают часовни, колодцы,

Околицы и плетни.

И сердце по-старому бьется,

Как билось в далекие дни.

Я снова на мельнице...

Ельник

Усыпан свечью светляков.

По-старому старый мельник

Не может связать двух слов:

“Голубчик! Вот радость! Сергуха!

Озяб, чай? Поди, продрог?

Да ставь ты скорее, старуха,

На стол самовар и пирог.

Сергунь! Золотой! Послушай!

... ..

И ты уж старик по годам...

Сейчас я за милую душу

Подарок тебе передам”.

«Подарок?»

“Нет...

Просто письмишко.

Да ты не спеши, голубок!

Почти что два месяца с лишком

Я с почты его приволок”.

Вскрываю... читаю... Конечно!

Откуда же больше и ждать!

И почерк такой беспечный,

И лондонская печать.

“Вы живы?.. Я очень рада...

Я тоже, как вы, жива.

Так часто мне снится ограда,

Калитка и ваши слова.

Теперь я от вас далеко...

В России теперь апрель.

И синею заволокой

Покрыта береза и ель.

Сейчас вот, когда бумаге

Вверяю я грусть моих слов,

Вы с мельником, может, на тяге

Подслушиваете тетеревов.

Я часто хожу на пристань

И, то ли на радость, то ль в страх,

Гляжу среди судов все пристальней

На красный советский флаг.

Теперь там достигли силы.

Дорога моя ясна...

Но вы мне по-прежнему милы,

Как родина и как весна”.

... ..

Письмо как письмо.

Беспричинно.

Я в жисть бы таких не писал.

По-прежнему с шубой овчинной

Иду я на свой сеновал.

Иду я разросшимся садом,

Лицо задевает сирень.

Так мил моим вспыхнувшим взглядам

Погорбившийся плетень.

Когда-то у той вон калитки

Мне было шестнадцать лет.

И девушка в белой накидке

Сказала мне ласково: «Нет!»

Далекие милые были!..

Тот образ во мне не угас.

Мы все в эти годы любили,

Но, значит,

Любили и нас.

Январь 1925

Батум

Журнал «Город и деревня», Москва, 1925, N5, 20 марта; N8, 1 мая (отрывки); полностью — в газете «Бакинский рабочий», 1925, NN 95 и 96, 1 и 3 мая. В поэме отразились впечатления от поездок в родное село Есенина, Константиново, в летние месяцы 1917-1918 гг. По воспоминаниям сестер поэта, прототипом Оглоблина Прона (и комиссара в «Сказке о пастушонке Пете» частично послужил Молчалин Петр Яковлевич, рабочий коломенского завода (Е.А. Есенина, Воспоминания); а прототипом Анны Снегиной была помещица Л.И.Кашина, «молодая, интересная и образованная женщина», ей же Есенин посвятил стихотворение «Зеленая прическа...» (А.А.Есенина, Воспоминания).

Воронский А.К.(1884-1943) — литературный критик, редактор журналов «Красная новь» и «Прожектор», в которых часто печатался Есенин.

1 «липа» — подложный документ (прим. Сергея Есенина.)